



Эфраим

Баух

אפרים באוף

За миг до падения

новеллы ушедшей эпохи

Книга-Сефер, 2017

© Эфраим Баух, 2017

Эфраим Баух
За миг до падения

«Книга-Сэфер»

2017

Баух Э.

За миг до падения / Э. Баух — «Книга-Сэфер», 2017

В новый авторский сборник мастер интеллектуальной прозы Эфраим Баух включил новеллы, написанные в разные годы. Но в них – история. История страны, история эпохи. История человека – студента, молодого горного инженера, начинающего литератора. История становления, веры, разочарования... Студент, которого готовы «послать» на Фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, спустя 20 лет, в поезде, увозящем его из страны исхода, из СССР, как казалось – навсегда, записывает стихи: Прощай, страна былых кумиров, Ушедшая за перегон, Страна фискалов без мундиров, Но со стигматами погон. Быть может, в складках Иудеи Укроюсь от твоих очей Огнем «возвышенной идеи» Горящих в лицах палачей. Он уехал, чтобы спустя годы вернуться своими книгами.

© Баух Э., 2017

© Книга-Сэфер, 2017

Содержание

За миг до падения	5
Крым	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18



Эфраим Баух

За миг до падения.

Новеллы ушедшей эпохи

Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова...
Притчи Соломоновы, 6, 5

*Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность
чрева...*
Притчи Соломоновы, 18, 8

За миг до падения

В феврале пятьдесят седьмого, после зимней сессии, приехав домой на каникулы, в предвесеннем головокружении молодости, встречах с друзьями, танцах и мимолетных знакомствах, я пропустил мимо ушей сказанное мамой: приезжал какой-то мужчина недели две назад, расспрашивал про меня, сказал, что меня собираются послать на международный фестиваль молодежи летом в Москву. Фамилии своей не назвал. Но самое главное, как мама не напрягалась, не могла описать его внешность: он просто ускользал от описания. Мама только запомнила нездоровые мешки у него под глазами, ондатровую шапку и то, что был он средних лет. По неопытности я и на миг не встревожился самим фактом, что человек этот как бы нарочно ускользает от запоминания. В тот миг такое мне и в голову не могло прийти.

Начало занятий в марте было вялым, самые толковые лекторы казались монотонными, и мы дрыхли в аудиториях под прикрытием учебников. В такую расслабленную минуту, когда я после лекции спускался по лестнице в вестибюль первого корпуса университета, мечтая добраться до общежития и завалиться спать, меня явно, как зазевавшуюся птицу подстерег секретарь комитета комсомола Слава Кривченков:

– Зайди в комитет, с тобой хочет поговорить один человек.

В углу длинной и темной, как кишка, комитетской комнаты сидел человек в пальто. Поднялся мне навстречу с какой-то сладко-гнилостной улыбкой, пожал руку и подал удостоверение: "Старший лейтенант комитета государственной безопасности Казанков Ипполит Илларионович". Всю мою сонливость как рукой сняло. И я тут же заметил нездоровые мешки под его глазами болотного цвета.

– Что-то случилось? – спросил я, глупо уставившись на него.

– Нет, что вы, что вы. Мы просто хотели бы с вами встретиться. Не здесь, не здесь. Давайте так: завтра часа в три я вас буду ждать у гостиницы "Молдова"... с газетой в руках, чтобы вы меня ни с кем не спутали... Такой порядок.

Увидев, что я все еще пребываю в напряженной недоверчивости, добавил:

– Вас рекомендуют на московский фестиваль, так что сами понимаете...

Следующий день был солнечным, поистине весенним, уйма народу толпилась на улице, у гостиницы. Только черное воронье, обсевшее деревья сквера и карнизы оперного театра, закрадывалось в душу нехорошим предчувствием. Да и Казанков со своей сладко-гнилостной улыбкой, бегающими болотными глазками, мучнистым, похожим на маску лицом, какие бывают у людей, работающих по ночам или страдающих бессонницей, суегливыми пальцами, сворачивающими в трубку газету, на этот раз ужасно мне не понравился. Вдобавок он даже не поздоровался, а лишь заговорщически кивнул головой: мол, следуй за мной. Я шел, глядя в его лоснящийся жирными волосами перхотный затылок, и протест нарастал во мне тяжелой тошнотой. Мы двигались обшарпанным коридором вдоль внутренней стены ресторана, в котором я нередко бывал с ребятами. Мягкие официанты мелькали, выныривая из каких-то дверей, но все это казалось отчужденным и ирреальным. Распахнулась дверь. Мы вошли в обычный гостиничный номер. Высокий астеничный человек, на вид лет шестидесяти, с острым лицом, продолговатой лысиной в обрамлении седых волос, пожал мне руку, повел перед моим носом удостоверением, так, что я лишь успел прочесть: "Дыбня... подполковник"; попросил сесть. Я примостился на стул, лишь теперь заметив, что в номере нет обычных кроватей. Только стол, несколько стульев, диван. Откупоренная бутылка вина стояла на столе. Раскрытая коробка шоколада.

– Угощайтесь, – сказал подполковник.

– Спасибо, не пью.

– Наслышаны о вас. Читали... Кстати, как вы относитесь к недавним венгерским событиям? – спросил Дыбня.

Глядя прямо ему в глаза, я отбарабанил политинформацию об интернационализме и контрреволюционерах, чувствуя, как с каждым словом тошнота под ложечкой усиливается; казалось, каждое слово повисает плевком в этом тягостно-стыдном пространстве, натянутом между нами какой-то слизью, привычной для них средой, уже всосавшей и меня самим фактом того, что я согласился прийти в это потайное логово, всего лишь тонкой стеной отделенное от улицы, по которой я гулял несметное число раз. Эта среда любезно дышала мне в щеку гнилостными деснами: Казанков подавал мне коробку с шоколадными конфетами. Внезапно почти вплотную я увидел его болотного цвета глаза, замер, как кролик парализованный взглядом удава. Только в этот миг я с ужасом осознал, над какой гибельной пропастью поставили меня моя беспечность и глупость, и, кажется, о Господи, нет уже ходу назад, и я поперхнулся шоколадной конфетой, взятой из роскошной коробки, стоимость которой будет списана органами по статье: вербовка агентов. Я даже различил на миг довольное

выражение на мучнистом лице Казанкова, мысленно составляющего отчет по месячным расходам, ловко сбрасывающего меня со счетов как уже пойманную в силки птицу.

Я долго кашлял, орудуя платком, лихорадочно соображая, как выпутаться из ситуации, в которую влип как кур в ошип. Больше всего пугало схватившее горло костяной хваткой ощущение безнадежности, хотя ведь, по сути, ничего еще не произошло.

– Мы собираемся послать вас на международный молодежный фестиваль в Москву, – сказал Дыбня.

– Разве не университет? – сквозь кашель спросил я, ощущая собственные дурачки вытаращенные глаза.

– Университет, конечно... Но вы же понимаете, без нашего согласия... Подрывная деятельность... Международное положение... Шпионы, контрразведчики, антисоветчики... Среди нас. Думаете, рядом с вами, в университете?

На какой-то миг даже немного полегчало от мысли, что он пытается охмурить меня, как ребенка, байками о захватывающей, полной приключений, жизни шпионов, этакий наивный папаша.

– Но причем тут я? – где-то в подсознании меня так умиляли собственные мои такие независимые глаза, светящиеся идиотской наивностью, кажется, начинающие серьезно раздражать подполковника. Какие они все же нетерпеливые, думал я, и холодок ужаса гулял по спине.

– Вы комсомолец? Сталинский стипендиат? Кто же еще обязан нам помочь?

– Но в чем?

– Вы должны с нами сотрудничать.

– Доносить, что ли? – сорвалось с моих губ, но было уже поздно.

– Ну зачем вы так, – поморщился подполковник-интеллигент, а Казанков стал носиться затравленной мышью по комнате, одаряя меня презрительно-сладкой улыбкой мучнистого своего лица; он готов был лопнуть от невозможности высказаться, но жест старшего по чину был им точно и по-собачьи на лету пойман: помалкивай. Дыбня барабанил пальцами по столу, поглядывая на меня все более насмешливо и добродушно:

– Вы же вот пишете, стихи... рассказы. Книгу издать захотите. Это же для вас будет бесценный материал. Мы ведь вам и помочь можем... издать.

– Да, конечно, – сказал я, понимая, что говорю не то, ощущая себя беспомощной птицей, летящей навстречу собственной гибели, навстречу двустволке ледяных глаз этого старого, хорошо сохранившегося астеника. – Вы правы, но я ведь хорошо себя знаю, я не смогу жить двойной жизнью, говорить с человеком лицом к лицу, а потом за его спиной... Это меня просто убьет...

– Но вы не должны ничего плохого о нем говорить. Мы вам верим. Вы просто даете характеристику на товарища...

– Так я могу сказать о каждом только хорошее...

– Отлично. Но, сначала, вы должны дать подписку.

– Какую еще подписку?

– О сотрудничестве.

– Это обязательно?

– Обязательно.

И с этим словом они набросились на меня с двух сторон, как две гончие на птицу, уже упавшую с неба, обессиленную, но еще ковыляющую – прямо в силки. Они не говорили, а рывкали:

– Обязательно... Комсомолец... Стипендиат... Сталинский... Обязаны... Такой порядок... Вы же сознательный... Надо... Поря-ря-ряв-рявк...

Это было какое-то затмение, какая-то мерзкая муть, заливающая и выключающая сознание. Я внезапно, как приходят в себя, увидел перед собой лист бумаги, стол, к которому, вероятно, подошел сам и теперь сидел за ним, как за партой, отупевший ученик, заливаемый потом и бессилием, понукаемый двумя педагогами, указывающими на лист, слова которых – "Вот ту-у-т" – звучали повторяемым – "Ату-у-у его, ату-у", двумя прожженными сатирами, вышколенными старыми совратителями, очень точно знающими, как поймать не пуганную душу в момент ее полной беспомощности. Они вложили ручку в мои пальцы, как вкладывают нож в

руки самоубийцы, теперь мое существование висело на кончике пера, я это физически ощущал. И само то, что я не отбросил ручку, как мерзкое насекомое, показывало, насколько я был близок к падению.

Это был миг.

Я застыл в каком-то вдохе или выдохе, который не может кончиться, был звон в ушах, вернее сверлящий ледяной звук – сирены ли, флейты – такой же нескончаемый как вдох или выдох. Я так пронзительно ощутил, что происходит с солдатом в тот неуловимо-страшный миг, когда он скорее не понимает, а чувствует, что смерть неминуема, и что если этот миг минет – жить ему, солдату, вечно.

– Это очень серьезный шаг, – услышал я со стороны свой собственный голос, – можно мне подумать?

– Можно, – донесся издали голос Дыбни. Ловцы человеческих душ поняли, что чуток пережали и ослабили давление:

– Завтра, в пять вечера, на Комсомольском озере, у ротонды над каскадом...

Какое-то ущербно улыбающееся существо, выжатый как лимон мой двойник, мутно двигался в коридорных зеркалах гостиницы, этого замызганного здания с тайными карманами. Полчаса или час назад мимо этих зеркал прошел беспечный разиня, самовлюбленный дурак. Лицо-то, в общем, было то же. Но теперь возвращался некто иной: мерзость, мутившая зеркала протягивающейся через столетия татаро-славянской жутью сыска и фиска, коснулась и меня, и вот, уже, резвясь, глодает во всю.

Слишком молодо было мое отражение в зеркалах: я чувствовал себя сразу и на столетия постаревшим, свежей жертвой Малют, Бенкендорфов и Берия.

Часы показывали без четверти пять.

Единственный собеседник – молчание. Оторопелым взглядом глядел я на прогуливающих мимо разомлевших под солнцем людей: все они казались мне счастливо улыбающимися идиотами, не выдержавшими, спятившими, подписавшими. И теперь бесконечным стадом довольных собой осведомителей, самым прогрессивным в мире обществом стукачей, прогуливались под весенним солнцем.

В общежитии шатались такие же беспечно улыбающиеся, хлопающие меня по плечу, задающие нелепые вопросы, казавшиеся мне сплошь стукачами, и я улыбался им в ответ, я же, черт меня подери, был уже наполовину их, но как-то еще барахтался, жалуясь на головную боль, а они почти хором признавали:

– Да ты и выглядишь как с перепоя.

Я не спал, я боролся с самим собой, с дьявольской мерзостью, в последние часы принявшей облики Дыбни и Казанкова, наливающих мне в стакан вино. Знак хлебосольтва и душевного расположения, вино дружбы, опоганенное прикосновением этих заушателей и продажных душ, даже если они при исполнении служебных обязанностей, вино, на глазах превращалось в яд, как в иллюзионистских фокусах; их облики расплывались во тьме, сливались, и я боролся с ними, я прилагал титанические усилия, чтобы различить их черты, изъеденные пороками: суетливые мелкие движения увековечили их каиновой печатью, пародией на истинное дружелюбие, столь елейно и обильно капающей с лица Казанкова. Конечно, их жизнь тоже жизнь, но чья-то другая. Тебя уже нет в момент, когда ты грязной лапой коснулся тайны другой жизни. Они зверски завидуют чужой жизни, потому что у них нет своей. На излете этого знания, очевидно, можно прожить и долго, но какая это мерзкая мертвая тягомотина. Вот почему они так чудовищно жестоки: количество растлеваемых ими душ повышает их по лестнице палаческих чинов, и это – единственно ощутимое движение их жизни. Они расслаиваются в чужой, как в собственном кресле, с бесцеремонностью и бесстыдством органов, прикрываясь фиговым листком секретности.

В редкие мгновения, когда я делал передышку под прижимающей меня и, все же, еще не совсем положившей на обе лопатки ночью, я как никогда остро не ощущал, что это такое – затаенная жизнь души. А ведь это было преступлением в их глазах более опасным, чем кража или даже убийство с целью ограбления, ибо взяв прерогативой в полнейшее и неделимое свое пользование "тайну и авторитет", они понимали, что единственным истинным их врагом была эта затаенная жизнь души, духа и творчества, уже сама собой несущая авторитет и тайну, в отличие от их фальшивого, поддерживаемого страхом и повиновением. Они не могли допустить ее даже полувольного существования. Им надо было сломить ее, подчинить себе. Их даже, – и я это внезапно понял, – доносительство интересовало как дело второстепенное. Им надо было лишь одного – сломить тебя, ввести в свой вольтер, в собачий свой мир.

Неужели совсем молодым пошел такой Дыбня работать в органы? Неужели мертвецы не зовут его каждую ночь, и не вечен их веселый пир в его доме – особенно ночью? Неужели пепел мертвых не скрипит у него на зубах и кость не застревает в горле? Он ведь до этого, по его словам, был учителем? Максимализм моей молодости пытался хотя бы чуточку облагородить их страданиями. Но тут же передо мной вставал образ стукача и палача – провинциального учителя: из двенадцати гауляйтеров Гитлера девять были провинциальными учителями.

Ночь одолевала меня. Был миг, когда бессознательное ударом молнии входит в сферу сознания, испепеляет молниеносным озарением неисповедимых глубин, переживанием свободы. Да, она может лишь быть по ту сторону жизни, и тогда все сознательное, всю твою жизнь выращиваемое, лелеемое, собираемое, как в дендрарии, кажется бессмысленным сорняком, несмотря на то, что оно культивировалось и подстригалось по рецептам лучших садоводов и мыслителей.

В третьем часу ночи я вышел из общежития мимо вахтерши, вечно сердитой и злой, которую сморил сон, и она выглядела беспомощной и совсем уже разложившейся старухой. Обрывок улицы – от общежития, через переулки, до Свечной, – впитал на всю жизнь отметины моей беспомощности: на этот камень я сел, ощутив внезапно приступ безнадежности, и он так и остался могильной плитой этого приступа. К этому дереву я прислонился, приняв твердое решение, ибо резкий душевный сдвиг от безнадежности к отчаянной твердости заставил меня хватиться за ствол. И редкие полуночники приняли меня, вероятно, за пьяного.

Петухи кричали в предместье, как и сто лет назад, и это, как ни странно, было самой большой поддержкой: демоны ночи разбегались, Дыбня и Казанков массировали свои гниющие десны зубными щетками, а насквозь прогнившие души – чтением доносов. А я еще был чист и непорочен, и за это стоило стоять до конца.

Внезапно опажнуло меня девичьим голосом из раскрытого окна: невидимое за занавеской существо, разговаривая с кем-то третьим, послало мне, не догадываясь об этом, привет и поддержку.

Неожиданно стал крупно накрапывать дождь. Неожиданно я понял: у меня есть собеседник. Пусть он тоже – молчание, но он – отец.

Рассвет приближался столь же стремительно, как и нарастающий дождь, и отец стоял вплотную к стягивающей небо и землю стене дождя. Ранний свет высвечивал его лицо, взрывался брызгами, ударяясь в отвесную водяную стену...

Я увидел их издали: вдвоем они спускались по лестнице к ротонде. Мы сели на скамейку.

– Никаких подписей я давать не собираюсь, – сказал я.

– Хорошо, хорошо, что вы так нервничаете? – сказал Дыбня. – Но если нам понадобится ваш отзыв о ком-либо, вы не откажете? – сказал Дыбня.

Я молчал.

– Связь будете держать через Ипполита Илларионовича, – сказал Дыбня.

Мы поднялись и разошлись.

Оказывается, великое счастье – спутать карты этим вурдалакам.

Я старался забыть то, что со мной произошло в номере гостиницы, и само это словосочетание "номер гостиницы" обдавало публичным домом, душевным распутством, что-то каждый раз мне напоминало об тех постыдных часах несуществования.

Надвигались впускные экзамены.

Душная волна безделья и тяжелой лени, какой-то даже демонстративной беспризорности, разряжающаяся внезапными грозами в начале июня пятьдесят седьмого, казалось, неотступно накрывала нашу студенческую ораву. И это мгновенно выделяло нас среди обтекающей нас упорядоченной жизни. Ни о какой подготовке к экзаменам и защите дипломов и речи не было. Мы слонялись по общежитию, окосев от сна и вина. Ночи напролет, до посинения, резались в покер и преферанс, урывками спали днем, шатались, изнывая от жары, по улицам, заваливались к Пине в забегаловку напротив университета, который раз забалтывая один и тот же фокус Шайки Колтенюка: под общий шум он выкрадывал из ящика пару бутылок пива, вальяжно говорил — "Пиня, тут мы пиво приволокли, поставь-ка на лед". Выкаблучивание стало формой времяпровождения. Это был намеренный балаган, изоощренное сопротивление упорядоченности, безоглядная забубенность последнего студенческого года перед брезжущей скукой всей последующей жизни. Страну шатало, то ли от хронического недосыпа, то ли от чересчур резкого пробуждения. На верхах что-то варилось, темное и непонятное: Сталину снова отдавали "должное" и, казалось, долг этот никогда не погасить, но вернувшийся страх был какой-то мелкий, а вернувшие себе потерянный голос карьеристы, опять выкрикивающие про "великого вождя, преданного марксиста-ленинца", казались испуганными и жалкими. В самое пекло я уходил на озеро, сидел в заглохшем углу с ряской, камышами, плакучими ивами. Между ними висла июньская паутина. Я следил за летучими парусами, непонятно как движущимися по замершим водам. Иногда брал лодку, выгребал до середины озера, лежал, глядя в небо, пытаюсь определить, куда его заносит, и каждый раз, подняв голову, в первое мгновение не мог понять, где я нахожусь, и вообще, где верх, где низ. Со стороны предместья, пасущегося у самых вод, неслась разучиваемая кем-то "Баркаролла" Чайковского, обрываясь на одном и том же пассаже, но распев был чист, полон все менее сдерживающей, какой-то ликующей тоски молодости, и мне было двадцать три.

Внезапно погода изменилась. Дни покатались непрекращающейся слякотью в зияющую пустоту пятьдесят восьмого – мелкой моросью, затяжными дождями, липкими туманами, сквозь которые город проступает горами хлама, перерытыми улицами, открытыми люками, откуда несет невыносимой вонью, ручьями прорвавшейся канализации, домами, которые идут на снос, обнажаясь скошенными уровнями этажей, зияющими дырами бывшего жилья, похожими на разворошенные клоповники. Город походит на гигантскую клоаку, запахи которой особенно обостряются на весеннем гнилом ветру. Город циклопической спиралью замыкает нас в лабиринт, проглатывает полными влажных испарений скользкими улицами и улочками, ведущими в бани, парные, куда ходим, обалдев от зубрежки к близящимся экзаменам, ошалев от работы над дипломным проектом, пытаюсь хотя бы немного очиститься, выпариться. Но и в самих банях из-под решеток в раздевалках сочится грязь, нас окружают мужчины, искривленные, козлоногие, грудастые, распухшие одним сплошным брюхом, лысые, волосатые, подмигивающие, похотливо просящие потереть им спину, скалящие в улыбках то чересчур зубастые, то беззубые рты. Сквозь густой пар проступают они подобиями высохших желудей, дынь,

рассыпающихся пней, оцепенело глядят в ничего не сулящее завтра, затем горою распаренной плоти и гнилом дыханием теснят нас в пивной, примыкающей к бане. И это скорее походит не на раблезианскую фреску веселого обжорства и разложения, а на Содом, в котором за переизбытком греха уже смутно мерещится возмездие.

Внезапно осточертевают учебники, микроскопы, лаборатории, мы убегаем от всего этого искать покоя на Армянском кладбище. Но тут нас встречают блекло проступающие сквозь туман свечи, сотни свечей у могил, склепов. Скатерти с едой и графинами вина расстелены на молодой влажной травке. Рядом возлегают на сырой земле мужчины и женщины, справляющие день поминовения, возлегают равнодушно, подобно покойникам, взирая на окружающий сваланный в тумане мир, обжираясь и напиваясь до умопомрачения. И расступившийся на несколько мгновений туман обнажает над их головами багрово-огненную закатную даль.

Копошась в непрекращающемся тумане, власти исподволь готовятся к близящимся майским праздникам: украшают пестрыми флажками мостики и перила над перерытыми улицами; безуспешно борются с прорвавшейся канализацией, насылая на нее несметные полчища бодрых с утра сантехников, которые уже через час-полтора, разбившись по трое, не столько промывают трубы, сколько горла, вяло подпирают стены, с пьяной улыбкой разглядывают свои двоящиеся отражения в прорвавшихся водах, занюхивая спиртное профессиональной вонью. Закрывают зияющие дыры еще не снесенных домов вьевшимися в печенку бодро-патриотическими плакатами.

Туманы нагоняют сон.

Во сне я пытаюсь сбежать от самого себя, грешного, но спираль каменного лабиринта все более втягивает в себя мой бег, спираль распрямляется в единую галерею, все вверх и вверх, а на галерею выходят квартиры, бани, рестораны. У женщин лица потаскух, и все гонятся за мной с криками, скрипами, лязгом, лаем собак, и все тычут в меня пальцами, а мир уже вырвался за облака спирально закручивающейся башней, подобием Вавилонской, и все преследователи вымотались, отстают, засыпают. И вот, я – один – среди облаков, на чистейших высотах, но что за тревога, что за

странный, слабый, все усиливающийся гул: землетрясение? В ужасе кричат массы моих преследователей, падают в пропасть вместе с рушащимися стенами башни. Просыпаюсь от грохота: первая весенняя гроза.

Скука гонит меня на концерты классической музыки со считанными слушателями в огромном филармоническом зале и манным голосом музыковеда Мануйлова, который, к примеру, растолковывает вообще не подающегося словесному объяснению Баха. Но фугообразная, мощная, как церковные своды, музыка мессы распахивается передо мной туманной анфиладой опять же в завтра, накладывая на меня метафизические клейма своих барельефов, росписей, фресок. Таится во мне нечто одновременно проклятое и избирательное, связанное с главным клеймом – "еврей", притягивающее всех этих Ангелов с иудейскими лицами, окружающих на барельефах Давида-псалмопевца. Вот она – главная и глубинная моя суть, затоптанная годами учебы, законами окружающего бесстыдства, напялившего на себя маски диамата и простого мата, плящего на меня глаза с демонстративно мигающей скромностью циркового клоуна, утопленная как при обряде крещения, который, оказывается, поначалу тоже был иудейским обрядом. Ангелы окликают меня с этих фресок и росписей, музыкой – с высот небесного Иерусалима. Они и только они – истинные свидетели моего древнего существования, но пока этот оклик смутен и слаб, заглушается суетой жизни, боязнью завтрашнего дня и собственной молодостью. Я вижу все круги неба – в росписях и фресках. Но сам я врос в земной, чуждый мне, круг.

Казалось бы, главное позади: сданы экзамены, защищен диплом, но впереди самое неприятное – распределение на работу. Решается моя судьба. И хотя я и сталинский стипендиат, и диплом у меня с отличием, и один из первых в списке, и слухи все ходят, что оставят меня в аспирантуре, скрытое клеймо на лбу не дает покоя. Уже в соседней комнате заседает комиссия во главе с ректором, а мы толпимся перед дверьми в насквозь казенной, похожей на казарму, приемной с напрочь задраенными окнами и тяжелыми шторами, кажется, уже окаменевшими от пыли.

Вызывают первого, второго, восьмого...

Уже понимаю: стряслось что-то неладное. Входят, выходят. Смотрят на меня непонимающе, снисходительно, жалея, злорадствуя, недоумевая, неловко опуская глаза.

И хотя я стою в стороне, а двигаются они, я чувствую себя проходящим сквозь строй. В эти минуты самого страшного унижения, пережитого мною в моей двадцатичетырехлетней жизни, я не существую, я оправдываюсь, криво всем улыбаясь, повожу головой, развожу руками, сам себя ненавижу за суетливость.

Меня вызывают последним.

Ректор с бледным рыхлым лицом, опустив голову к столу, говорит замогильным голосом:

– Осталось последнее место в Караганду. Или в Крым.

– Ну, раз последнее, то, конечно, в Крым – расписываюсь и выхожу вон.

Вместе с последующими днями, расходясь все шире, словно круги по воде, слухи уже качают весь университет: кто-то знающий кому-то передал, даже сам слышал, как во время распределения звонили из органов, дали наказ: ни в коем случае не оставлять меня не в аспирантуре, а вообще послать как можно подальше.

Наказ как наказание: за то, что, ничтожная шавка, да еще еврей, проявил непокорность. Не пожелал сотрудничать, душу, видите ли, решил спасти, органы, понимаете ли, за нос вести – в прах его велено растереть казначеями праха – казначеями страха.

Мне еще пару недель торчать в общежитии: хожу загорать на озеро, лежу на койке до полуночи, почитываю. Ходят ко мне всякие знакомые незнакомые, соболезнование выражают, возмущаются, а я помалкиваю. Выхожу их провожать, чтобы сбежать от всех, укрыться в каком-нибудь пустынном скверике, так остро ощущая атмосферу выброшенности, предательства ректором, злорадства недругов. Говорят, страх – это неведение. Здесь же нарочито пестуемое неведение – единственное спасение от страха, хотя и оно в своем наивном выражении воспринимается казначеями страха как уловка.

Этот феномен, скорее личностно-психологический, становится выражением времени, в котором я родился и волею судьбы должен буду жить.

Разговоры, сплетни, байки вокруг меня не умолкают, я ощущаю, что так просто это пройти не может, и я вскакиваю по ночам при визге автомобильных тормозов за окном, как при звуке защелкивающейся западни. Они не торопятся и вместе мы знаем, что мне не уйти.

Вахтерша зовет меня к телефону. Говорит управляющий студенческим городком, старый стукач Кузьмин: с тобой тут один человек поговорить хочет, зайди ко мне в контору.

Я-то ведь знаю, кто этот человек, мышь, вошь, я спрашиваю:

– Кто же это хочет поговорить со мной так сильно? Я ведь уже не здешний. Слышь, Кузьмин, – я стараюсь быть нарочито грубым, – скажи ему, если он хочет поговорить, пусть и придет ко мне в комнату, я ведь уже молодой специалист, мне уже не к лицу бегать куда-то с кем-то на встречи.

Кладу трубку.

На следующий день снова звонок.

– Ты не придуривайся, – ласково говорит Кузьмин, – это тебе может дорого обойтись. Он тебя ждет.

– Нечего мне у тебя делать. И вообще я в общежитии уже не живу, сегодня же ноги моей здесь не будет.

Минут через пятнадцать стук в дверь.

– Вас там ждут в фойе, – испуганно говорит вахтерша: верно, удостоверение ей показал.

Как же, вот и он собственной персоной, Казанков, всем проходящим так любезно и наперед улыбается, всем кивает, мне вполголоса:

– А ну, пошли, сука.

За углом, как полагается, машина, "Победа", окна прикрыты кокетливыми занавесками, задняя дверь предупредительно распахнута.

Сажусь, Казанков бросает свое грузное тело рядом с немой мумией шофера, и машина как бы сама собой трогается с места, Казанков начинает гнусно орать, брызгая слюной:

– Ты что, падла, с органами решил играть в кошки-мышки? Сильно умным стал, твою мать? Было бы это годика три назад, я б тебе показал кузькину мать, сука.

– Повезло мне, что это не три года назад.

– Заткни хайло, молодой специалист. Я б тебя не в Крым, в Магадан бы загнал.

Стараюсь не слушать этого маразматика, поглядываю в щель занавески, а душа заледенела: интересно, думаю, мама или бабушка предчувствуют, куда меня везут в эти минуты.

Вот и городской планетарий – в помещении бывшей церкви – почти соединяется со зданием КГБ. А что? Телескопы – вполне подведомственные органам инструменты: вести слежку за Вселенной – звезды да планеты эти ведь явно элемент ненадежный.

Распахиваются ворота.

Вот и каменный лабиринт, пророчески приснившийся мне совсем недавно, внутренняя тюрьма с огромной снарядной гильзой вместо гонга, галерея вдоль стен, чьи-то стертые жестоко-бесстрастные лица, окна, окна, забранные решетками, клетушки да клетушки кабинетов, зияющие мертвыми сотами за стеклами, внутренний коридор, двери, двери, комната. Сидит за столом Дыбня, постукивает пальцами, а Казанков так еще рта не закрыл, все еще брызжет злостью.

– Скажите ему, чтобы он закрыл рот. Иначе я рта не раскрою.

– Замолчите, – говорит Дыбня.

Приказ есть приказ.

– Вы что же, – обращается Дыбня ко мне, – слухи распускаете, мол, из-за органов вас в Крым выслали, а в аспирантуре не оставили. Знаете, что у нас полагается за клевету?

Сразу стало легче дышать, отлегло на душе: я ведь твердо знаю, никому ничего не говорил. Все вокруг трепались, а я – нет. Гляди-ка, гляди, времена-то как изменились: органы заботятся о своей репутации.

– Ничего такого не говорил. Мало ли кто да что треплется. Если не верите, я потребую очную ставку с любым, кто утверждает, что я ему это говорил.

– И кто это вам сказал, что вас в аспирантуре собираются оставить, – уже более мирно говорит Дыбня, – все это слухи да сплетни, а вы уши развесили. Вы свободны.

– Товарищ подполковник.

– Ну, чего еще?

– Пропуск забыли. На выход.

Молниеносный росчерк пера.

С пропуском. Сам. Сквозь вертеп, откуда раньше редко кто выходил, иду к двери, и никогда после так остро я не буду ощущать собственное существование как подарок. Часовой у дверей изучает пропуск, берет под козырёк:

– Проходите! И с этим напутствием я выхожу в жизнь.

Крым

В наши дни, когда о Крыме судачат круглые сутки, он вновь огромно вторгается в мою жизнь как одна из главных реальных незабываемых вершин моей долгой жизни, окутанных дымкой молодости, наравне с пребыванием через много лет во Флоренции, в лоне "Божественной комедии" Данте Буоннаротти.

В июне пятьдесят седьмого, вместе с однокурсником Игнатом, мы вдвоем едем на преддипломную геологическую практику в горы Крыма.

Доехали до Одессы. На автобусной станции уйма народа. Ведем переговоры с водителем битком набитого автобуса на Херсон: возьмет – не возьмет. Соглашается. Впервые пересекаем Николаев. Пешком, за автобусом, идем через длинный мост на плаву. По обеим сторонам моста, в речных водах, на уровне наших ног, качаются арбузные корки. На херсонском вокзале странно звучат в устах замотанных, плохо одетых крестьян названия станций – Пантикапея, Джанкой, Бахчисарай. К нам лепится какой-то шустрый толстяк в соломенной шляпе, сандалиях на босу ногу с чемоданчиком, полным воблы, который он то и дело открывает, соблазняя нас. Втроем, до прихода поезда Москва-Симферополь, заваливаемся в пивную. Толстяк полон, как арбуз семечек, всяческих южных прибауток и анекдотов, рад слушателям, сыплет ими с каким-то сочным удовольствием. В Херсоне садимся на поезд. В окне вагона плывет прекрасный черноморский закат на фоне тонкого девичьего профиля. Совсем еще девочка впервые едет с папой-мамой в Крым, в глазах жадность и первая печаль пробуждающейся женской души, худенькие ключицы нежно торчат из платица, под веками бархатная темень.

В полночь просыпаемся от ангельского ее голоса: – Джанкой.

Симферополь на рассвете.

Стоящие как бы поодаль, но присутствующие в каждом нашем движении и взгляде – шапки гор – Чатыр-Даг и Роман-Кош.

Вдоль пальм и брызжущих фонтанов озабоченно бегут люди, читая на ходу газеты. Устраиваемся в гостинице, в комнате величиной с вестибюль вокзала с множеством коек. В какой-то забегаловке едим манную кашу, чуть приправленную маслом, а люди вокруг, шагая, беседуя, не отрываются от газет. Снова что-то произошло, пока мы были в пути. Пытаемся поймать заголовок, ускользающий из одной перелистываемой газеты в другую: "Антипартийная группа – Маленков, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шепилов".

Фраза шипит змеей, сворачиваясь и разворачиваясь листами, держа на весу жало, полное яда, и все зачарованно следят за ее движениями.

В Институте минерального сырья – ВИМСе, куда нас направили на практику, мы пакуем необходимые вещи, сухой паек, бидоны для воды, палатки, раскладушки. Собираемся в горы: Игнат с профессором Сергеем Александровичем Ковалевским и его ассистенткой – на Чатыр-Даг, я с Толей, научным сотрудником ВИМСа – на Демерджи-Яйлу. Свободного времени более, чем достаточно. Игнат обычно валяется в гостинице на постели, я шатаюсь по улицам, под тополями вдоль домов из мягкого белого камня, и уже несколько раз, казалось мне, мелькает передо мной тонкий профиль девочки из ночного поезда, который привез нас в Симферополь. Ее худые ключицы нежно торчат из платья, слышится ее голос. Она как бы растворена в плывущих мимо юных созданиях, в их размытой какой-то акварельной прелести, дразнящей воображение, усиливающей прелесть летнего дня.

Вечером я решил пойти на танцплощадку, вопреки весьма убедительной речи Игната против джаза, двигательного способа знакомства, романтики на ощупь. У нее смуглое лицо испанки, вороний отлив волос, небрежно свернутых на затылке. Зовут ее Белла. Лермонтовские сумерки, тайные искушения ночного южного города омывают нас едва ощутимыми порывами мягкого ветра, звезды тонут в бархатной мгле.

Пожелтевшая газета под стеклянной витриной, освещенная фонарем, привлекает мое внимание столбцами фамилий. Против такого искушения я не могу устоять даже в столь романтические минуты: подошел к витрине, читаю список различных лауреатов:

– Вот, еще одна... Еще...

– Что ты выискиваешь? – в голосе Беллы тревога и удивление.

– Еврейские фамилии... Явные и скрытые. Понимаешь ли, как ни крути, а процент высокий.

– Ты что, еврей?

– Ну конечно, – говорю – и ты ведь тоже.

Это само собой разумелось и не могло быть по-иному. Меня продолжает нести напропалую эта располагающая к чрезмерному откровению симферопольская ночь, и я говорю о том, что всегда ощущал свою принадлежность к людям погибшей страны, к разбросанному по миру племени, что всегда искал их следы не только по обрывкам старых книг, молитвенникам, но и в любом статистическом исследовании, таблице, списке. И это не мания, а просто поиски знаков собственного существования. Тем более, здесь, в Крыму, это ощутимо острее, ведь рукой подать, через море, Турция, а там уже совсем близко Израиль, и вообще, верно, если с горы, где мы будем находиться, хорошенько прищуриться, можно различить плавни Египта, откуда наши предки вышли в Синай. Замечаю в ее глазах удивление, смешанное с тревогой, даже испуг.

– Ты знаешь древнееврейский? – в голосе ее уже не испуг, а страх.

При следующей встрече пришел черед удивляться мне: Белла настоятельно просила встретиться с ее отцом и немедленно. Так быстро, думал я про себя, не очень-то торопясь, однако деваться было некуда.

– Погляди-ка на этого гоя, – хлопал меня как старого знакомого по плечу ее отец, высокий пожилой мужчина, к моему удивлению, белобрысый с бесцветными, словно бы выжженными бровями и чуть подслеповатым взглядом, какие бывают у альбиносов. Он держал в руках небольшую Тору, обращаясь, очевидно, к жене, в темь типичной еврейской квартиры. Она уводила между нагромождениями мебели, запахами скученности, корицы, дерева, разъедаемого древооточцами, одежды, пересыпанной нафталином, духов бабушкиного букета, в самую глубь южной еврейской жизни, обставленной с чрезмерным уютом и все же не менее беззащитной, чем какая-нибудь пещера Бар-Кохбы, осажденная римлянами. Оказывается, жена его, на которую Белла и похожа, и вовсе из последней горстки евреев-крымчаков, которые еще остались в Симферополе и Карасубазаре от некогда огромной общины. Ведь фрагменты старых их надгробий время от времени обнаруживаются в заборе, стене или в виде крышки старого колодца, еще пятнадцатого века – самые древние в Европе после Греции и Италии. Это ведь только представить, – крышка колодца, а на ней древнееврейскими— 5217 год; но все говорят лишь о караимах, и они сами считают себя еврейским коленом, а крымчакам не дают проходу. Но вовсе они не евреи, это крымчаков татары называли "чуфут", что означает "еврей", а караимов – "кара ит", что означает "черная собака", и вот послезавтра, в канун субботы собирается группа евреев в археологический заповедник, мертвый город Чуфут-Кале – "еврейскую крепость", и он настоятельно приглашает меня. Для них такой молоденький еврей, похожий на гоя и так бегло читающий на древнееврейском, не меньшая находка, чем археологическая. Так, еще до экспедиции на Демерджи-Яйлу и Чатыр-Даг, я выезжаю в короткую – с утра до наступления субботы – экспедицию с людьми, которые и вправду смотрят на меня как на археологическую находку. Едем через Бахчисарай, в Чуфут-Кале, где гулкое эхо наших шагов оживляет мертвые улицы в скалах, ударяется о гору, которую, оказывается, караимы называют Масличной, а прилегающее к ней кладбище – долиной Иосафата, считая, что здесь можно найти много сходства с окрестностями Иерусалима. И я потрясенно онемевая не столько от зримого вокруг, хотя этот белый, как привидение под отвесными лучами солнца город может бросить любого в столбняк,

сколько от того, с какой легкостью с уст меня окружающих срываются столь редко произносимые в обычном моем окружении имена – Иерусалим, Иосафат. Это меня как-то даже отпугивает, и уже до самого отъезда в горы я стараюсь не попадать в дом родителей Беллы, отделиваясь всяческими отговорками. Мы гуляем с ней по солнечно-сиреневому Симферополю, который, оказывается, раньше назывался – Сюрень, и внезапно лиловые тучи над головой, молния, гром, ливень, и мы прячемся под колоннадой, и выходим на солнечный свет улицы, из мрака в ослепительность солнца в испарениях миг назад прошедшего ливня. И это столь же внезапно пронизывает всю мою жизнь ощущением истинного существования, полного намеков и надежд на необычное будущее, повисает над нами гулким эхом, когда мы на джипе со всем экспедиционным грузом на следующий день поднимаемся по проселочной, петляющей между скалами дороге от Перевала на Демерджи-Яйлу. И справа, непрерывно меняя очертания, высится огромная глава Чатыр-Дага, уже по ходу нашего движения становящаяся частью моего существования, подсвечиваемая словно бы зеркальцем шалуна – Аянским водохранилищем. А слева, у дороги, выбеленные ливнем кости лошади, и уже орел парит над нами, непомерно огромный, ибо его не с чем сравнить, и он кажется летающей лошадью. Собратья его ходят по скалам поодаль, и лишь с нашим приближением лениво взмахивают крыльями и зависают над нами. Мы уже миновали пояс источников. Выше скалы сухи, рассечены провалами, пропастями, снежными колодцами, куда никогда не попадает солнце, и потому на дне их снег лежит круглый год. Растворимые известняки и мергели пропускают воду, как губка, и воронки, пещеры, трещины образуют неповторимый карстовый пейзаж. И тень от аспидно-синей скалы чудится тенью роденовского "Мыслителя" – наше окультуренное великими именами сознание оживляет эти пустоши и провалы. Позднее, когда я буду в горах совершенно один, изредка буду ловить себя на том, что тень скалы выступает одушевленным существом: так в одиночестве прорывается скрытая жажда человеческого общения.

Мы с Толей ставим две палатки недалеко от гнезда орлов, складывая в одной оборудованное и провиант, во второй – две раскладушки, фонарь, свечи, застегиваем вход в палатки, набираем из нагретых бидонов воду в фляги. Первое знакомство с ближайшим окружением. По дороге в горы все более редели памятные места цивилизации: холм, – где стояла батарея Льва Толстого, бугорок с обелиском, – где Кутузов потерял глаз, туристский ресторанчик на Перевале, в котором официантки, молодые девицы, одеты в мундиры времен наполеоновской войны. Теперь нас окружают выжженные травы яйлы, сухое и жаркое безмолвие; в тени скалы слабое позванивание колокольчиков отары, к моему удивлению, без пастуха. Валун оборачивается спящей овцой, парящий орел внезапно садится на нее и оказывается вороном, глаз все еще не может привыкнуть к новым соотношениям, и беркут, раскинув крылья, парит в мареве, клекочет и замирает, вцепившись когтями в небо. Совсем близко от нас пролетает орел: отчетливо виден его круто загнутый клюв, обладающий невероятной пробивной силой, мощные, как железные капканы, когти, мерцающие сквозь панцирь перьев. В непомерном развороте его крыльев, кажется, ощутим весь циклопический разворот горного Крыма над притаившимися низинами северных крымских степей и уходящим вдаль, на юг, за предел, морем, над которыми белые облачка в этот полуденный час, ниже нас, чудятся крыльями Ангелов, и хотя они являются порождением грез, пестуемых новым пространством моей жизни, для меня они более реальны, чем севший неподалеку от нашей тропы орел, мгновенно превратившийся в неуклюже переваливающуюся птицу, и я уже ощущаю, что эта напряженная противоречивость ангельского полета и земной неуклюжести будет, как в тисках, держать эти необычные дни моей жизни. С высоты тысяча триста шестьдесят метров, стоя среди циклопических, причудливо выветренных скал (одну из них называют "головой императрицы Екатерины"), я вижу синюю безмолвную пустыню моря, как бы внезапно придвинувшуюся, затягиваемую бледной предзакатной дымкой, и какой-то никогда ранее не испытанный забвенный покой души легко и беспечально соприкасается с вечностью. Впервые со страхом и надеждой предчувствую, что

именно здесь мне может открыться суть собственной жизни. Как бы не оказаться в эти мгновения глухим и легкомысленным. И часы на запястье руки кажутся детской игрушкой, данью оставленным за спиной низинам. Время здесь вынесено за скобки человеческой истории, меры его – геологические сдвиги и горообразования.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.